

СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА

**К 80-летию главного сражения
Великой Отечественной**

ЛУИТПОЛЬД ШТЕЙДЛЕ

СТАЛИНГРАДСКИЙ

«КОТЕЛ»

ИСПОВЕДЬ ПОЛКОВНИКА ВЕРМАХТА

ЯУЗА

**МОСКВА
2024**

УДК 929(430)1941/42
ББК 63.3(4Гем)6-8
Ш88

Штейдле, Луитпольд.

Ш88 Сталинградский «котел» : исповедь полковника Вермахта / Луитпольд Штейдле. — Москва : Яуза-пресс, 2024. — 384 с. — (Сталинградская битва. К 80-летию главного сражения Великой Отечественной).

ISBN 978-5-9955-1174-8

Эти воспоминания, давно вошедшие в «золотой фонд» немецких мемуаров о войне на Восточном фронте, — настоящая исповедь офицера Вермахта. Полковник Луитпольд Штейдле (1898—1984) воевал против Красной Армии с 22 июня 1941 года и вплоть до капитуляции под Сталинградом, где командовал 767-м гренадерским полком 376-й пехотной дивизии. В своей книге он во всех подробностях рассказывает о вторжении в СССР, тяжелейших боях 1941—1942 гг., о жестоком сражении за Сталинград, о том, как вокруг армии Паулюса сомкнулось кольцо окружения и как немецкие войска мучительно «варились» в Сталинградском «котле».

УДК 929(430)1941/42
ББК 63.3(4Гем)6-8

ISBN 978-5-9955-1174-8

© ООО «Яуза-пресс», 2024

Воспоминания об отчем доме

Детство в Ульме

Сейчас, когда я пишу эти воспоминания, передо мною снова проходят годы и десятилетия, богатые личными переживаниями и историческими событиями, исполненными динамической силы. Нестройная вереница лет. Они образуют крутую дугу, которая ведет от безмятежной поры юности в Ульме и Мюнхене — через ужасы Первой мировой войны, через годы тяжелой борьбы за существование, через мое решение вернуться на действительную военную службу в ноябре 1934 года — ко Второй мировой войне. Высшая точка этого дугообразного пути и поворотный пункт в моей жизни — битва на Волге, Сталинград.

Вновь и вновь встают в этих воспоминаниях образы солдат. И первым по порядку стоит среди них мой отец, военный судья в частях баварской армии. Я как сейчас вижу его перед собой в Ульме, в городе, где я 12 марта 1898 года родился; вот он садится в седло и скачет верхом в утреннюю рань по гласису, который тянется вдоль старой крепостной стены.

Мне вспоминается мать, я вижу ее, склоненную над какой-то продолговатой корзинкой; мать обтягивает ее изнутри светло-розовой тканью, потому что у нас, может быть, появится сестричка. Правда, попадет она в дом не

через то — с желтыми стеклами — окно, в которое залетает аист, когда приносит маленьких мальчиков, но уж как-нибудь она найдет сюда дорогу, — с таинственным видом говорили взрослые.

Вижу, как сверху спускается по лестнице наш денщик Йозеф, неся только что вычищенные ботинки и ботфорты; слышу, как он рассказывает нашей служанке, крестьянской девушке из деревни в долине Иллера, очень страшную, должно быть, историю о драке, которая, говорят, произошла ночью между баварскими канониками и прусскими саперами в одной из маленьких гостиниц на берегу Блау.

Я точно не знаю, почему отец из Вюрцбурга, где он по окончании юридического факультета получил сначала чин аудитора, перевелся в баварскую Швабию — в Ной-Ульм. Но одно обстоятельство имело, бесспорно, решающее значение: его любовь к родным местам. С ранней юности он ежегодно неделями жил в доме прадеда, в Дисене на Аммерзее, известном в фольклоре под названием Байер-Дисен.

Его пленило альпийское предгорье в Вессобруннер-винкеле, раскинувшееся вокруг Хоэн-Пейсенберга. Он исходил пешком каждое село, знал все болотные кочки, заброшенные монастыри и придорожные распятия от Хейлигенберг-Андекса до Ландсберга на реке Лех, от Мюнхена до Шонгау и, разумеется, все большие и малые горные вершины вокруг Обераммергау. Во Франконии¹ он так никогда и не освоился, хоть и женился на нашей матери в замке Грауберг, что в Мильтенберге-на-Майне, а мой дед по отцу был обер-бургомистром Вюрцбурга. Дед мой в 1858 году окончил университет в Вюрцбурге, там и поселился, став нотариусом, а затем был популярным и весьма заслуженным муниципальным деятелем.

Нам, мальчишкам, нескоро стало известно, где находится место службы нашего отца. Мы знали только, что

¹ Северная Бавария.

для того, чтобы туда попасть, нужно переправиться через Дунай на пароме. У парома была пристань ниже Вильгельмсхее. Нам сверху хорошо были видны фигурки людей в маленьком плоском суденышке; различали мы их и когда они, уже на другом берегу, расходились по пересекающимся дорожкам вокруг домов, между садами у речной дамбы.

Святой Георгий — мой патрон

К лучшим воспоминаниям этих кратких лет относятся частые прогулки и непродолжительные поездки за город с родителями, которые уже очень рано стали брать нас с собой, брата Роберта и меня. Отец всегда разбивал эти экскурсии на небольшие переходы, так что мы в перерывах могли отдохнуть и не слишком уставали. Если наш путь лежал в гору, к крепости, то либо до подъема, либо после делали привал у дяди Шерера, пожилого полкового врача, с которым мы впоследствии встречались в Мюнхене; а иногда мы несколько часов сидели в монастырском саду в Оберельхингене, поглощая молоко и хлеб с маслом. Этот маршрут часто соединялся с заходом к портному, который шил отцу штатское платье, переделывал жилеты и брюки и даже перешивал из них коротенькие штанишки для нас, мальчиков.

В домике этого портного, крохотном и узком, точно клин, накрепко вбитый между широкими фасадами каркасных строений, было только две каморки, одна над другой: тесная спальня и кухня. Подмастерья, работавшие в верхнем этаже дома, сидели на длинном, похожем на стол помосте, подле которого в полу была просверлена большая круглая дыра. Через эту дыру подмастерья удобным образом могли спускаться к мастеру вниз и поднимать вверх большие портняжные ножницы, рукава, штанины, ткань для подкладки. Когда рабочий день подходил к концу, подмастерья сметали в эту дыру

все, что накопилось вокруг них за день: лоскутья, клочья ваты, комки конского волоса. Начиналась перепалка: мастер зычно ругался, тыча в дыру железным метром, стараясь остановить поток мусора, но тщетно.

Почему бы и нам не завести такую дыру в детской над столовой или прямо над обеденным столом? Вопрос естественный для мальчуганов, которым до всего было дело, которые постоянно пытались вмешиваться в разговоры взрослых и в своем радостном стремлении все превращать в игру готовы были подражать чему угодно.

У портного висела на стене картинка с изображением святого Георгия — в латах и с копьём; вот только лошадка у него была непомерно маленькая, будто игрушечный конек-качалка, поднятый на дыбы. Мы были без ума от этой картинки. В один прекрасный день отцу удалось после недолгого торга купить ее за несколько талеров у портного. Случилось это, должно быть, незадолго до моих именин в 1902 или 1903 году. 1 ноября, в праздник всех святых, картинка стояла на моем столе с подарками. Потом она все годы висела над моей кроватью даже тогда, когда я давно вышел из детского возраста, в 1915 году, когда я пошел добровольцем на войну. Мой брат Роберт завидовал мне, и даже очень, но картинку с изображением святого Роберта мы нигде не видели, поэтому он и не получил такого подарка.

Оказывается, как я узнал тогда, на свои именины, мой настоящий патрон — святой Георгий, его именем я и был наречен. Второго имени у меня и не было бы, не родился я случайно в день рождения тогдашнего принца-регента Луитпольда, как нарочно, в тот самый час, когда до Вильгельмсхее донесся гром салютов из Ной-Ульма. В этот день мой дед почти всегда бывал в гостях у принца-регента, который ежегодно приезжал из Мюнхена в вюрцбургскую резиденцию праздновать свой день рождения на родине. Говорят, будто дед мой был очень горд, получив возможность сказать прин-

цу-регенту, что его, Штейдле, младшему внуку дали имя Луитпольд. Да и родители мои, несомненно, этим гордились, и мой отец говаривал, что я должен стать «луитпольдским канониром» или «лайбером». «Лайберами» для краткости называли в народе королевско-баварский пехотный лейб-гвардейский полк.

Шалости

Мы с братом в эти ранние годы дополняли друг друга как нельзя лучше. Зачинщиком был то один, то другой, в зависимости от обстоятельств или темперамента. Когда дело шло о каких-нибудь дерзких шалостях, задавал тон чаще всего я — и получал затем положенную трепку.

Как далеко уходят в глубь прошлого эти воспоминания детства? Что и вправду запечатлелось в сознании? Что из рассказов родителей или родственников воскресает, преображенное игрой фантазии, и воспринимается нами как нечто непосредственно нами самими пережитое, ибо наши собственные впечатления сливаются с подлинно бывшим, о котором мы знаем только понаслышке? Думаю, что все происходящее в самом раннем детстве только тогда остается в памяти на третьем или четвертом году нашей жизни, если это событие вызывает потрясение или шок в жизни ребенка.

Дом в Ульме, где родились мой старший брат и я, мне знаком только по внешнему виду; внутренность дома я знаю по рассказам родителей, особенно моего отца, который до глубокой старости сохранил свойственную ему черту: умение любовно, вплоть до малейших красочных подробностей описывать увиденное. Случалось ли нам идти с Мюнстерплац или из клуба, отец каждый раз, когда мы за руку с ним проходили по Хиршгассе мимо родного дома, непременно здесь останавливался. Особенно сильное впечатление производила на нас украшавшая дом большая голова оленя с мощными рогами

посреди орнамента с множеством завитушек. Нас всегда радовало, что немало прохожих внимательно разглядывали этого оленя. А история об аисте, которая чаще всего вспоминалась именно перед домом, где мы родились, казалась нам здесь тоже наглядно убедительной, раз на высоком шпиле огромной кровли собора сидит воробей — эмблема Ульма, — держа в клюве настоящую балку, будто соломинку.

Так вот шагали мы — молодежато и почтительно — мимо этого дома, зная, однако, что там у некоего дядюшки Лаумайера продаются печки, а за углом, в кондитерской, — шоколадные пирожные с кремом, которым можно сколько душе угодно мазаться, хоть с головы до ног. Прогулки нередко кончались для нас слезами и радикальной чисткой, а родители давали клятву никогда больше не ходить в это искустительное кафе с нами, детьми; правда, клятву свою они никогда не выполняли, ибо мамы тогда, как и ныне, тоже не прочь были полакомиться. А приводило это к таким же последствиям, что и сейчас. Не хочу преувеличивать, но мы, мальчишки, лет с пяти потешались над тем, как отец зашнуровывает в корсет чуть-чуть излишне пышные формы матери; о, этот гигантский корсет — от шеи до места пониже спины, о, эти шнурки длиной в километр. А отец обливается потом под своей повязкой для усов, а мать уговаривает его шнуровать дальше, да потуже.

Жили мы тогда уже на Променаде, 30, в доме, который в обиходе звали попросту «Бюргле»¹ — за его эркер, маленькую выступавшую башенку и романтический вид, напоминавший Средневековье. Но прекрасней всего в «Бюргле» был большой сад на верхней террасе. Ходили в него прямо из столовой со второго этажа. Под этим садом помещалась мастерская дядюшки Хинкеля, который был органом мастером и делал фисгармонии. А мы

¹ Уменьшительное от слова «Burg» (нем.) — крепость, крепостца.

наверху играли на солнце, чувствовали себя вольготно между небом и землей, поливали последние отцветшие комнатные растения, которые выставляли на свежий воздух. А в жаркие дни мы с разрешения старших даже купались — совсем нагишом — в стиральной лохани. Такие дни были для нас праздником, мы говорили: «Вот мы и на даче». Наверху у нас всегда гулял ветер; белье здесь быстро просыхало. Развешивая цветные и белые вещи, мать непременно повязывалась платком, и концы его разлетались по ветру. Вот тут-то нам и случилось впервые услышать слово «веснушки». Это было ужасно смешное слово, мы переиначивали его на все лады, без конца тараторили, как дразнилку, и даже пели:

— Весна, весна, веснушечка, весна, весна, веснушка...

И помирали со смеху. А услышали мы это слово, когда мать однажды вышла без платка и отец предостерегающе крикнул ей вслед:

— Веснушки!

Он, как видно, считал, что ей неприлично иметь веснушки.

А первую в жизни порку задали нам, когда мы накидали песку в мастерскую дядюшки Хинкеля и залили ее водой. Когда же запас воды у нас кончился, мы прибегли к собственным природным ресурсам. Вот тогда и разразилась над нами гроза. Мать сняла с нас штаны и основательно нам всыпала. Дядюшка Хинкель грозил всяческими неприятностями. Отец, вернувшись под вечер со службы, поспешил с нами в мастерскую. Горько сокрушаясь и плача, мы лепетали: «Больше не будем». Пожилой мастер, качая головой, демонстрировал перед отцом всевозможный, якобы нанесенный нами ущерб — для того, наверное, чтобы нас запугать. К счастью, листы ценной фанеры не были «поражены». Затем он велел нам подойти к недоконченной фисгармонии и окинуть взглядом устройство этого маленького чуда мастерства,

с изумительными валиками и трубами, штифтами и мехами. Нам открылся новый мир. Теперь мы уже в состоянии были представить себе, что происходит в органе, который мы почти каждое воскресенье ходили слушать — как обычно, за руку с отцом, — на концертах в соборе между 11 и 12 часами утра.

Но после этого хождения в мастерскую в нашей детской появилось еще кое-что: чурки и щепы, мучной клейстер, горшок для клея, опилки, проволока и гвозди; там началось увлечение рукоделием, которое не кончилось и поныне.

Мы, мальчишки, конечно, часто играли в солдаты. На стенах в прихожей висели крест-накрест сабли, старинные и современные ружья. В углу стояли две корзины для картечи, на наш взгляд, изумительно сплетенные. Отец купил их, когда армейская часть получила новое снаряжение. Разумеется, мы жалели, что в корзинах нет пуль и пороха.

Была еще одна вещь, для нас особенно притягательная. В нижнем шкафу лежал револьвер, один из тех очень тяжелых, основательных револьверов с барабаном, которые еще до Первой мировой войны были заменены пистолетами с обоймой. Имелись и патроны к этому револьверу, но их от нас, детей, прятали.

Вошло в наш детский обиход и слово «дуэль», которое мы усвоили из разговоров взрослых, хоть мать и бросала на отца строгий взгляд, когда он за столом или в саду со свойственной ему необыкновенной живостью начинал, увлекшись, рассказывать о событиях, случившихся у него на работе. Разумеется, мы играли в дуэль. С течением времени мы узнали всю шкалу наказуемых в армии проступков и преступлений.

В Мюнхене

Важным событием детства был переезд в 1905 году из Ной-Ульма в Мюнхен. Несмотря на развитую в Ульме промышленность и стоявший там гарнизон, это был ти-

хий, уютный, типично баварский городок. Мюнхен же был большим городом искусства, пользовавшимся мировой славой.

Кто только не жил в Мюнхене — постоянно или хотя бы недолго! На рубеже веков центром немецкой духовной культуры считали не Берлин, а баварскую столицу: здесь обрели свою родину авангардистские журналы «Югенд» и «Симплициссимус», мужественный книгоиздатель Альберт Ланген, политическое кабаре «Одиннадцать палачей» с известной эстрадной певицей Марией Дельвар. В Мюнхене жили тогда Гальбе, Даутендей, Ведекинд, Тома; позднее — Георге, Вольфскель, Рильке, Рикарда Гух, Томас Манн. В Мюнхене создавали свои произведения Бюлов, Лист, Вагнер; за ними следуют Рихард Штраус, Арнольд Шенберг. В Мюнхене нашел себе пристанище «Голубой всадник», объединение экспрессионистских художников, таких как Кандинский, Габриэла Мюнтер, Франц Марк и Август Макс. Способствовали громкой славе университета и Баварской академии такие ученые, как Макс Петтенкофер, Генрих Вельфлин, Карл Фосслер.

Мюнхен был богатый, интересный, веселый и красивый город. Мы скоро нашли путь в среду художников и ученых, ведь Омштрассе — на той улице находилась наша первая квартира — граничила непосредственно со Швабингом.

Влияние Мюнхена, города искусства, сразу же после переезда сказалось на нашем быте: отец модернизировал всю домашнюю обстановку. Вооружившись маленькой пилкой, он аккуратно отпилит все шишечки и резные украшения на своем секретере. Колонны с волютами, вычурный стеной орнамент, тяжелые плюшевые портьеры — вся эта угрюмая роскошь периода грюндерства теперь устарела. Требовалось, чтобы все в доме было «стильным».

Нам показали дом на Шеифельдерштрассе, почти что без окон, на фасаде которого было фантастическое леп-

ное панно, на наш взгляд, совершенно неудобопонятное. Нам сказали: это стиль модерн, югендстиль¹. Мы решили, что эта штука имеет какое-то отношение к детям. Только позднее мы стали понимать, что под этим словом подразумевается определенная эпоха в истории искусства, тесно связанная с именами Уильяма Морриса и Анри Ван де Вельде.

Но когда отец снова водворил у себя свой письменный стол, книжный шкаф и этажерку с папками, старые вещи опять, к счастью для нас, оказались на местах. Они пленяли нас сызмальства, и мы тайком — потому что это нам запрещалось — играли ими. Было там бронзовое пресс-папье: баварский мушкетер в военной форме 1866—1870 годов с примкнутым к ружью штыком. Лежала эта фигурка солдата, будто прицелившись: изумительная игрушка — правда, ружье со штыком мы, играя, не раз сгибали то в одну, то в другую сторону. А еще были там миниатюрные бюсты Гёте и Шиллера, деревянная шкатулка для писчей бумаги и самурайский кинжал для харакири, в ножнах, с чудесной резьбой, залитой японской эмалью; внутри ножен лежали еще палочки для риса и маленький ножичек. Кинжал подарил отцу «дядя» Ониши, судья японской армии, который когда-то приезжал на несколько недель в Ной-Ульм, чтобы под руководством отца изучить основы германского военного права.

Отец всегда считал, что его профессия является делом большого научного значения. До Первой мировой войны он работал в сотрудничестве с одним из своих ближайших друзей, военным судьей в Раштадте Дитцем, над реформой Военно-уголовного кодекса. За эти получившие признание научные заслуги отец был переведен в Вер-

¹ В Германии стиль модерн — Jugendstil — получил название в 90-х годах XIX века по заглавию мюнхенского авангардистского журнала «Jugend» («Юность»).

ховный военный суд в Лейпциге, но грянула Первая мировая война, и ему так никогда и не пришлось занять этот пост. Его бескомпромиссная позиция, безоговорочно осуждавшая военные преступления Германии, навлекла на него травлю и всяческие нападки. Зато он мог на закате дней с чувством глубокого морального удовлетворения сказать, что ни разу в жизни не вынес смертный приговор.

Швабинг

Перед нами открылся мир новых впечатлений, когда в 1910 году мы переехали в приобретенную родителями маленькую виллу у Бидерштайнерского парка. Жизнь в наемных квартирах миновала. Стали редкостью обязательные семейные прогулки по субботам и воскресеньям. Кончился постоянный надзор над нами отца, дяди, тети, гувернантки или няни.

Теперь мы гоняли где только вздумается: в сонном, заглохшем парке Бидерштайнер с его маленьким озером, заросшим камышом, и в Айсбахе, а оттуда забирались наверх, к «Аумайстеру», через проломы в стене или в ограде, окружавшей сад замка, где жил один из «спятивших» герцогов.

Швабинг представлял собой особый мир. Хотя он еще не стал в той мере, как сейчас, местом промысла для заведений, обслуживающих иностранных туристов, от Швабинга уже тогда, в наше время, отдавало немного «haut-gout»¹; от него веяло разнузданностью страстей, богемой, своеобразием артистического быта и любовных отношений (а это было самое главное!).

«Непутевые люди», — говорил о них не без легкой злости обыватель-мюнхенец, разумея под этим все, что нельзя было втиснуть без околичностей в рам-

¹ Пряным душком (*фр.*).

ки бюргерского уклада, будь то уклад жизни трудолюбивого ремесленника, обеспеченная жизнь рантье (каковым он стал: с помощью ловких спекуляций по продаже и купле домов, а теперь и малость взвинтил квартирную плату), будь то, наконец, мир «вышедших в люди», мир богачей, которые «сделали» такую уйму денег.

Однако Швабинг был не только пристанищем богемы, «непутевого люда». Встречались там закоулки и люди, словно написанные кистью Шпитцвега: будто грезящие наяву, чуть старомодные, чудные, разумеется, но милые.

Напротив нас жил старый бондарь Бригль. Он еще сам делал клепки, связывал обручами бочки и стиральные кадки, к тому же имел такой набор соблазнительных инструментов, о каком ребята могли только мечтать. Его старшего сына, бледного, узкогрудого, мы редко видели днем — он в это время спал. Работал он на Зендлингерштрассе печатником в «Мюнхнерпост», которую бюргеры в насмешку прозвали «развесистой липой», ибо это была газета социал-демократической партии.

Рядом с бондарем жило семейство Хашер. Особенно интриговала нас табличка на двери: «Акушерка». Что бы это могло значить?

Оба домика так и просились на полотно. Один — с остроконечной, крытой дранкой крышей, другой — с плоской, итальянской; один — выкрашенный в бирюзовый, другой — в розовый цвет; и оба — снизу доверху — увитые диким виноградом. Прямо напротив них, в старинном крестьянском доме, жила на свою ренту тихой и замкнутой жизнью фрау Руланд с сестрой и ее дочерью; девушка эта была писаная красавица, и ей позволялось только по воскресеньям выходить из своего всегда наглухо запертого одноэтажного дома, когда она шла в церковь под бдительным надзором матери. А на углу Хаймхаузер и Бидерштайнерштрассе стоял большой ста-

ринный дом стекольного мастера Ратгебера с ярким гербом цеха стекольщиков.

За домами улица, разветвляясь, выводила на пригорок, к старинной швабингской церковке.

Все это уже ушло или уходит в прошлое. Стоит тишина на старом швабингском кладбище, где тогда был даже склеп с черепами.

Олаф Гульбрансон

Из наших окон виднелся дом с садом Олафа Гульбрансона. Ходил он у себя месяцами голый до пояса, в коротких штанах и сандалиях, что, по нашим нынешним понятиям, разумеется, вполне допустимо на отдыхе, но тогда считалось рискованным и воспринималось как вызов общепринятым нормам. Изо дня в день до поздней осени появлялась в саду фигура Гульбрансона — широко известная по его собственным карикатурным автопортретам, — необыкновенно тучная, с круглой как шар лысой головой, багрово-коричневой от загара. Приманкой для нас были его павлины, сидевшие на ступеньках или на балюстраде террасы: крик этих павлинов разносился по всему кварталу — поэтому они и стали нашей излюбленной мишенью для стрельбы из луков и рогаток.

Но еще большее любопытство вызывал в нас сам Олаф Гульбрансон, известный своей язвительной иронией, своими обличительными выступлениями против трона и алтаря, против всего, что имело какое-либо касательство к правящему классу. Мой отец, часто воспринимавший это как прямое оскорбление его глубоко религиозного чувства, знал, однако, во всех тонкостях «Симплициссимус» и работы Гульбрансона. Он способен был искренне волноваться из-за безнравственного, как он выражался, характера и разлагающего содержания отдельных статей.

На нас, мальчишек, это производило некоторое впечатление. Правда, мы давно уже читали от корки до корки, когда это удавалось, каждый новый номер «Симплициссимуса», в нашем классе он передавался под партами из рук в руки; кроме того, мы отлично знали, на каких стендах вывешивается «Симплициссимус» полностью, и, пробравшись сквозь толпу любопытных, находили время как следует в него вчитаться. И все же в том, что автор этих «пасквильных» рисунков — наш сосед и мы с ним, так сказать, через забор чуть ли не на «ты», было для нас нечто необыкновенное.

Однажды отец принес домой пущенное кем-то в оборот выражение: «симплициссимусская культура». Над смыслом его стоило задуматься: это было не просто красное словцо, а нечто такое, что вызывало у нас острое любопытство, особенно когда мы слышали его из уст отца во время горячего спора о настроениях среди молодых офицеров.

В вопросах, как больших, так и малых, связанных с его жизнепониманием, отец был крайне педантичен и консервативен; в силу своей прямолинейной последовательности и бескомпромиссности он представлял собой, вероятно, единичное явление даже среди военных юристов, которым не мешало бы придерживаться таких же принципов. Согласно убеждениям отца, основой Баварии была монархия и король есть божьей милостью король. Ведь даже кайзеру пришлось однажды посетить Мюнхен! В этот день мы, школяры, стояли на улицах; самое любопытное, с нашей точки зрения, было то, что у кайзера одна рука короче другой, но вся эта помпа произвела на нас известное впечатление еще и потому, что почести оказывались кайзеру, который молится какому-то другому богу, во всяком случае не католическому.

Разумеется, отец и дома строго придерживался общепринятого порядка и правил морали; он чувствовал себя неловко, когда мы, провоцируя его своими любопытными вопросами, пытались проникнуть в тайну кое-каких «щекотливых» проблем; обсуждать их он считал возможным

только «с глазу на глаз». Легкомыслие здесь неуместно, мы ведь не богема — к этому примерно сводился его ответ.

«Симплициссимус» был в глазах отца просто носителем легкомыслия. Не только из-за сатиры, направленной против трона и алтаря, — против основ старой Баварии, по представлению отца. Еще больше возмущала отца фривольность, с какой изображалась жизнь светских людей, например, в скабрёзных рисунках Эдуарда Тёни, посвященных полусвету.

Но особенный гнев отца вызывало отношение к этому офицерского корпуса. «Симплициссимус» был излюбленным чтением в офицерских клубах. Остроты «Симплия» пересказывались при каждом удобном случае; собеседники наслаждались смелыми остротами, их забавляло, когда ловко пущенная в оборот придворная сплетня бросала свет на любовные интриги в сановных и театральных кругах, когда дерзко высмеивались все эти закостенелые генералы и князья церкви. Но самое постыдное, с точки зрения отца, было другое: люди смеялись над собой, сами этого не сознавая. Тогда вообще не понимали, что здесь речь идет о более чем справедливой критике общественных отношений того времени, что «Симплициссимус» ратовал за коренные социальные перемены. Но общество хотело забавляться, вот его и забавляли.

Выражение «симплициссимусская культура» было для моего отца символом беспутства и легкомыслия касты, к которой принадлежал и он; она отвечала смехом на критику одряхлевшего режима, не находя в себе больше моральной силы для того, чтобы изменить себя самое и общественные условия.

Диссен-на-Аммерзее

К лучшим воспоминаниям моего детства принадлежат каникулы, проведенные мною в доме прадеда в Диссене-на-Аммерзее. До недавних лет он стоял еще не тро-

нутый, в своей простой и гармоничной целостности, на Банхоф-штрассе, между участком рыбака Шварца и владением семьи Гребель, всем своим видом свидетельствующий о богатстве и бюргерской гордыне. Георг Гребель был профессиональный и потомственный — в четвертом поколении — кожевник, член муниципалитета, церковный староста, которого мой отец называл запросто — кум Жорж.

Дом Гребелей, с горделивым шипцом на фасаде, был построен лет двести назад; на высоком его чердаке помещалось четыре склада, о чем говорило наличие окон и слуховых окошек, а на втором этаже находились жилые комнаты огромных размеров, все подряд отделанные лакированными панелями. На первом этаже расположены были мастерские дубильщиков, против широкого поперечного коридора, который шел через весь дом до примыкавших к зданию коровников. Мастерские дубильщиков были темные, с запотелыми стенами, из года в год покрывавшимися испарениями, с застоялыми лужами на шероховатых плитах каменного пола. Здесь кожевники солили шкуры, мездрили и на особых козлах сгоняли с них волос; здесь под строгим надзором дубильщика-подмастерья, весьма рьяного, и под надзором самого мастера эти парни проходили школу по старинным канонам ремесла. Все это было нам ново и интересно: ведь ни в одном городе такое не увидишь.

Дом отстоял далеко от улицы, а перед ним были круглые дубильные чаны, которые в зависимости от стадии брожения то выпускали смрад, то переливались, выплескивая пену, то тут же опорожнялись рабочими: сначала выбрасывался слой дубильных веществ, потом слой шкур, а затем все начиналось сызнова, и так беспрерывно. Все это происходило под нашим окном, ибо дом красильщика, как прозвали в округе жилище нашего прадеда, стоял перпендикулярно к улице и наши слуховые окошки выходили прямо во двор дубильни.